

Максимович Желько

# Любовь

АЛЫЙ КВАДРАТ



# Желько Максимович

## Любовь, Алый квадрат

<https://litres.ru/74074468>

SelfPub; 2026

### Аннотация

Лия всегда читала жизнь по звёздам: натальные карты, транзиты, камни, которые шепчут правду. Замужество с надёжным Аркадием, страстная связь с художником Мироном, тайный архив манипулятора Серафима — всё казалось частью большой космической драмы, где любовь равна боли, а глубина измеряется силой удара.

Но однажды планеты замолкают. И остаётся только вопрос: кто она, когда больше не ищет знака?

Вместо очередного затмения появляется Давид — реставратор старых рам и окон, человек, который чинит, не ломая, и остаётся, не требуя ничего взамен. Рядом с ним нет ни вспышек, ни пропастей. Только тихая, почти пугающая устойчивость. И Лии предстоит научиться самому сложному: принимать любовь, которая не требует доказательств.

Это не история о том, как найти идеального мужчину. Это история о том, как перестать искать в любви катастрофу и наконец разрешить себе просто жить. О том, как старые трещины в душе становятся частью картины, а не приговором.

# Желько Максимович

## Любовь, Алый квадрат

Глава 16. То, что остаётся после ясности

Первое, что она заметила утром — запах кофе, который никто не варил.

Потом поняла: запах шёл из памяти. Из той квартиры, из тех лет, когда Аркадий вставал в шесть, молот зёрна вручную, ставил кружку у её изголовья ещё до того, как она проснулась. Это было его способом говорить о любви — хозяйственно, без слов, как человек, который верит, что забота важнее признания. Теперь запах кофе возвращался как фантомная боль ампутированной жизни: её уже нет, но тело ещё помнит её контур.

Лия лежала в комнате, которую снимала третий месяц. Небольшая, с высоким потолком и окном на северо-восток — Тамара Ильинична, узнав об этом, сказала -хорошо-, хотя и не объяснила, почему. Стены здесь были цвета старой слоновой кости, светлые и равнодушные, как новый лист. На подоконнике стояли два камня: чёрный опал и изумруд. Она оставила их не как реликвии, а как вопросы, на которые ещё не нашла ответа.

За окном начинался март.

Она встала и подошла к зеркалу — не к отреставрированному, тому осталось висеть в доме Тамары. Это было простое зеркало, без истории и серебряных трещин. Лия смотрела на своё лицо и пыталась понять, что в нём изменилось за эти месяцы. Черты те же. Глаза те же — тёмно-серые, скорпионьи, чуть тяжелее, чем раньше. Но что-то перестало дрожать под поверхностью. Как вода в стакане, когда его перестают нести.

Телефон лежал на столе. Три непрочитанных сообщения: Аркадий — насчёт документов. Тамара Ильинична — напоминание о встрече в четверг. Давид — ничего. Давид вообще редко писал первым. Он знал, как ждать, не превращая ожидание в давление.

Это было непривычно. Почти подозрительно.

Лия налила воды, стоя у окна выпила её медленно и следила за тем, как по стеклу ползёт первый по-настоящему весенний свет — ещё бледный, ещё неуверенный, но уже не зимний. Внутри было то, что она долго не умела называть: не счастье и не покой, а что-то третье. Как дно под ногами после долгого плавания. Устойчивость, которая не торжествует.

Она подумала об Аркадии.

Документы лежали в конверте уже неделю. Бракоразводный процесс был тихим — почти деловым, что соответствовало характеру их союза до самого конца: всё правильно, всё в форме, всё медленно разворачивается, как свинцовый лист. Адвокаты обменивались письмами. Аркадий не торговался. Он вёл себя так, как человек, который понимает: торговаться здесь уже незачем.

Она не ненавидела его. Это открылось ей ещё в октябре, на мосту, когда ветер нёс запах канала и железа, а Давид стоял рядом с той особенной тишиной, которую умел создавать вокруг себя. Ненависть требует убеждённости в чужой единственной вине, а Аркадий был виновен так же, как виновна бывает форма, когда в неё льют не то содержание: оба знали, что не так, оба молчали, оба выбрали удобство правильного контура вместо неудобного дыхания.

И всё же.

Под устойчивостью дна что-то ещё жило. Не боль — нечто прохладнее и тише. Grief, как сказала бы Тамара Ильинична, хотя вслух она называла это -завершением транзита-. Горевание не по человеку, а по иллюзии, которую так долго счи-

тала реальностью. По годам, которые прошли внутри этого молчания. По версии себя, которая думала, что гармония — это когда не ссорятся, а не когда говорят.

Лия достала тонкую тетрадь с тёмной обложкой. В ней она вела записи с ноября — не дневник в обычном смысле, не исповедь. Скорее, картография. Транзиты, наблюдения, маленькие сдвиги в восприятии. Иногда просто слова, которые неожиданно оказывались точными. Сегодня она написала:

Первое, что остаётся после ясности — не покой. Пустота. Потом — вопрос, не задававшийся раньше, потому что не было места. Кто я, когда не ищу знака?

Она остановилась. Перечитала. Отложила ручку.

Тамара Ильинична ждала её в четверг, как обычно, в той же комнате с часами, которые отставали. Но на этот раз на столе не было карты. Вместо неё — простой чай, два бокала, тарелка с миндалём.

— Садись без карты сегодня, — сказала Тамара. — Я хочу поговорить с тобой как человек, а не как астролог.

Лия удивилась. За два года их встреч карта всегда присутствовала — как третий собеседник, как переводчик с языка

интуиции на язык структуры.

— Что-то случилось?

— Ничего особенного. — Тамара налила чай. — Ты изменилась. Я хочу понять — ты сама это знаешь?

— Я стала тише.

— Нет. Ты стала собой. Это разные вещи.

Лия взяла бокал. Чай был травяной, с мятой и чем-то горьковатым — может быть, ромашкой или мелиссой, обоим было не важно, как он называется.

— Мне иногда, кажется, — сказала Лия медленно, — что я до сих пор не понимаю, что такое любовь. После всего. Я думала — пойму через опыт. Но опыт дал мне только больше вопросов.

— Это и есть понимание, — сказала Тамара просто.

— Это неудовлетворительный ответ.

— Все честные ответы неудовлетворительны. Удовлетворительные ответы — это когда вопрос испугался и притво-

рился закрытым.

Они помолчали. За окном голубь сел на карниз и тут же улетел, испугавшись собственной смелости.

— Как тебе с Давидом? — спросила Тамара.

— Непривычно. — Лия не торопилась с ответом. — Я всё время жду, что что-то взорвётся. Что будет сцена, или ночь, после которой всё перевернётся, или тайна, которую я вдруг обнаружу. А этого нет. Он просто... есть. И мне рядом с ним не нужно быть другой.

— И это тебя пугает.

— Да. Немного. Я не умею отличить мир от скуки.

Тамара посмотрела на неё долгим взглядом, в котором не было осуждения.

— Ты умеешь. Просто ещё не привыкла, что одно из них стало доступно.

Лия поставила бокал. За окном март медленно набирал цвет.

— А Серафим? — спросила она. — Вы с ним виделись?

Тамара помедлила.

— Он написал мне. Один раз, в январе. Просил прощения. Красиво, по-меркуриански, с точными цитатами из собственного же прошлого. — В голосе её не было горечи, только усталая точность. — Я ответила ему, что прощение — это не то, что можно попросить в письме. Это то, что случается в тебе, когда ты перестаёшь причинять.

— Вы думаете, он перестал?

— Не знаю. Надеюсь. Хотя меркурианско-плутонические люди очень медленно учатся не считать чужие тайны своим ресурсом. Это почти физиологическое.

Лия кивнула. Серафим стоял в её внутреннем пространстве теперь как старая карта неизвестной местности — важная для понимания пути, но уже не определяющая маршрут.

— Мирон написал, — сказала она.

Тамара не удивилась.

— Что сказал?

— Что закончил цикл с затмениями. И что в одной из картин он думал обо мне. — Лия слегка запнулась. — Он написал, что понял: он любил во мне своё желание чувствовать себя спасённым. Что это была не я. Это была его нужда в форме, куда он мог поместить свою боль.

— Это честно, — сказала Тамара.

— Очень. Настолько честно, что я долго не знала, как ответить.

— А ответила?

— Да. — Лия провела пальцем по ободку бокала. — Написала, что, наверное, то же самое. Что я любила в нём свою потребность чувствовать, что живу по-настоящему. А это тоже не он. Это была я, путающая ожог с огнём.

Тамара медленно кивнула. На её лице появилось то выражение, которое Лия знала: не гордость, не одобрение, а тихое узнавание.

— Ты стала астрологом своей собственной души, — сказала она.

— Этого недостаточно?

— Этого больше, чем кажется.

В пятницу Давид забрал её после работы на машине — старой, с заедающим замком на переднем окне, которое он периодически чинил, и оно снова заедало, и он чинил снова без раздражения, как человек, принявший, что некоторые вещи требуют постоянного присутствия, а не разового решения.

Они ехали через старый район, где брусчатка была неровной и стёртой, а фонари давали не белый, а тёплый, желтоватый свет — будто сам воздух был чуть янтарным. Лия смотрела в окно на витрины, в которых отражалось движущееся небо.

— Ты сегодня молчишь иначе, — сказал Давид.

— Как?

— Спокойнее, что ли. Не сдержанно, а именно спокойно.

Она подумала.

— Я разговаривала с Тamarой. О Мироне. О Серафиме.

Такие разговоры делают что-то с воздухом внутри.

Он не спросил, что именно. Это тоже было его особенностью — он умел слышать вес фразы и не тянуть из неё больше, чем она предлагала.

Они остановились у небольшого ресторана на боковой улице. Давид знал его давно, бывал там с отцом ещё в студенческие годы. Заведение не менялось — те же деревянные столы с тёмной лакировкой, те же тяжёлые льняные скатерти, те же свечи в медных держателях. Лия сразу почувствовала, что это место не создавало впечатления, оно просто существовало.

Пока они ждали еды, она смотрела на его руки, лежавшие на столе. Широкие, с мозолями у основания пальцев, с тонкой белой полосой шрама на правой ладони — след от стекла, несколько лет назад, на реставрации.

— Расскажи мне про шрам, — сказала она.

Он удивился.

— Ты про это спрашивала.

— Я спрашивала, как было. А теперь хочу знать, что ты

чувствовал.

Давид смотрел на свою руку.

— Стекло было старым, Елизаветинской эпохи. Я знал, что оно хрупкое. Торопился — надо было закончить до темноты. — Он остановился. — Когда оно пошло, я сначала разозлился на себя. А потом, пока перевязывал, думал: интересно, что чувствовало это стекло двести лет. Сколько лиц видело. Как его в конце перевозили, ставили, и наконец оно не выдержало.

Лия смотрела на него.

— Ты так думаешь о стекле?

— Я так думаю о вещах, которые долго держались.

Они помолчали. Свеча между ними горела без мерцания — ровно, как дыхание спящего человека.

— Мне иногда страшно, — сказала Лия тихо. — Не потому, что с тобой что-то не так. Потому что я не привыкла, что не страшно.

— Я знаю.

— И ты не пытаешься меня переубедить.

— Переубеждение тут не поможет. Ты убедишься сама. Или нет. — Он чуть улыбнулся. — Я предпочитаю быть здесь, пока ты разбираешься.

Лия почувствовала, как внутри что-то сдвинулось. Не резко — скорее, как когда оседает снег. Мягко, неизбежно, без звука.

— Это не романтично, — сказала она.

— Нет.

— Но это правда.

— Да.

Они ели молча большую часть ужина. Говорили о его работе — он брался за новый объект, старый доходный дом, рамы там были в плачевном состоянии, но дерево хорошее. Она рассказывала о клиентке, с которой работала над синастрией и которая не хотела принимать ответ, потому что он не совпадал с тем, что она уже решила. Это было обычно, говорила Лия, люди часто приходят не за картой, а за подтвер-

ждением. Давид слушал без советов, только иногда кивал.

На улице было прохладно, когда они вышли. Не зимний холод — другой, живой, весенний, который пахнет корой и влагой. Лия подняла голову. Небо над городом было тёмным, но не мёртвым; в разрывах между домами мерцали первые звёзды.

— Венера видна, — сказала она.

Давид посмотрел.

— Где?

— Вон там. Над тем домом с башенкой. Самая яркая.

Он смотрел туда, куда она указала.

— Вижу.

— Она сейчас в Тельце. В хорошем аспекте к Юпитеру. — Лия остановилась, поняв, что говорит вслух то, что обычно оставалось внутри. — Это про расширение. Про то, как сердце перестаёт быть тесным местом.

— Тебе помогает так думать?

— Раньше это было способом уйти от ответственности. Сказать: планеты, судьба, транзит. — Она помолчала. — Теперь — другое. Скорее, язык для того, что и так происходит. Ни причина, ни оправдание. Просто... название.

Давид кивнул медленно. Это не значило, что он понял астрологию. Это значило, что он понял её.

Они шли обратно к машине. Его рука была рядом с её рукой, не взятая, просто рядом — и Лия думала, что, может быть, именно в этом разница: не в том, держат ли, а в том, что можно взять, если хочется, и отпустить, не потеряв.

Она взяла его руку.

Шрам под её пальцами был тёплым.

Дома, уже поздно, она открыла тетрадь и дописала под утренней строкой:

Кто я, когда не ищу знака?

Та, которая замечает его сама. Та, которая больше не путает знак с разрешением.

Опал на подоконнике ловил луну — не алую, как в ту первую ночь, а белую, почти нейтральную. Изумруд рядом с ним казался в этом свете почти живым.

Лия задула свечу. В темноте ещё несколько секунд светился тонкий след дыма, потом и он растворился.

Окно было открыто. Пахло мартом, корой, далёкой водой. Откуда-то — невозможно точно сказать откуда — доносился одинокий звук: то ли птица, то ли ветер в трубе. Что-то, что держится на границе между жизнью и её отзвуком.

Лия легла. Закрывает глаза.

Её сердце больше не требовало затмения, чтобы чувствовать себя настоящим.

Это и было, наверное, тем, ради чего всё это случилось.

Не победой.

Просто — рассветом.

Глава 2. Венера и чёрный опал

14 февраля 2024, 23:17. Венера в соединении с Марсом в

Водолея. Луна в Скорпионе в оппозиции к Урану.

Его Марс в Скорпионе в оппозиции к её Венере в Тельце — притяжение и боль. Её Венера в квадрате к Плутону в его карте — любовь быстро становится одержимостью.

-Когда Венера смотрит в Плутон, она путает глубину с бездной-.

Это было до той ночи, но после многих предупреждений, которые она не захотела услышать.

Аркадий не поехал с ней. Сказал: -Мне рано вставать, а ты любишь такое-. Слово такое он произнёс без пренебрежения — просто как факт, разделявший их жизни на два разных словаря. В такси она смотрела в окно на огни февральского города, на мокрый асфальт, отражавший рекламные вывески с той тупой двойственностью, которая бывает у воды без берегов. Где-то в середине маршрута телефон завибрировал: сообщение от Тамары Ильиничны, неожиданное, почти странное для позднего вечера. Сегодня Венера встречается Марс. Будь осторожна с первыми впечатлениями. Именно сегодня они лгут наиболее убедительно. Лия убрала телефон, не ответив. Она не считала себя суеверной. Называла астрологию языком, а не законом. Но предупреждения Тамары она умела игнорировать с той изощрённостью, которую сама никогда бы не назвала трусостью.

Галерея размещалась в особняке, чья история была длиннее всех её нынешних жильцов вместе взятых. Фасад был строгим, почти суровым, зато внутри — тяжёлые бархатные портьеры цвета старого бордо, паркет с трещинами, в которые падал электрический свет и там дробился, запах пчелиного воска и шампанского, и зеркала. Их было много. Слишком много для одного вечера. Они стояли вдоль стен в рамках золочёных, чёрных, медных — каждое смотрело на тебя немного иначе, каждое преломляло присутствующих по-своему, так что в определённых углах зала можно было видеть себя сразу в нескольких версиях одновременно. Лия прошла мимо овального зеркала в тёмной раме, где люстра отражалась бесконечно, уходя в глубину, как в колодезь, потом мимо другого — узкого, будто щель в иную жизнь, где тёмные окна отражались в тёмных окнах. У третьего она остановилась сама, не зная почему. Оно было треснуто — тонко, почти незаметно, трещина шла от правого верхнего угла вниз, как молния, успевшая забыть о грозе. В нём она увидела себя с двух сторон: левая половина её лица казалась чуть темнее, правая — чуть холоднее. Разные люди, подумала она. Один из них замужем. Кто другой, она не стала додумывать.

Народу было немного: коллекционеры, несколько журналистов культурного отдела, пара молодых художников с видом людей, пришедших за вдохновением, но согласных и на шампанское. Лия взяла бокал, не потому что хотела пить,

а потому что стекло в руке создавало иллюзию занятости. Она умела держаться в подобных местах — легко, светски, с той внимательной улыбкой, за которой можно было прятать почти любое внутреннее состояние. Сегодняшнее состояние она и сама не могла бы назвать точно. Не тревога. Не скука. Что-то на полпути — как предчувствие без предмета, как запах грозы без тучи.

Именно тогда Мирон подошёл к ней.

Он не был красив в обычном смысле; в нём была та опасная соразмерность света и раны, от которой человек вспоминает не идеал, а свою нехватку. Его глаза были тёмно-винными в электрическом свете — не карими, не чёрными, а именно такими, какими бывает насыщенный цвет в момент перехода в другой, — голос чуть хриплым, как бумага письма, которое долго носили в кармане у сердца. Он стоял рядом с треснутым зеркалом так, словно пришёл именно к нему, а Лия оказалась здесь случайно, и сейчас он решал, стоит ли объяснить ей, что это его место.

— Вы стоите перед разбитым зеркалом так, будто ждёте ответа, — сказал он.

— А разве зеркала отвечают?

— Только тем, кто уже знает вопрос.

Это могло бы прозвучать как банальность. Многие красивые фразы могут. Но в его голосе была интонация человека, который произносит не афоризм, а диагноз, и сам от этого устал. Лия посмотрела на него внимательнее. На запястье блеснула тонкая железная цепочка — дешёвая, потёртая, явно не украшение, а привычка. На манжете — пятно краски цвета засохшего рубина. Позже она узнает, что Мирон пишет небо: не пейзажи, а планетарные карты, переведённые в цвет и плоть. Но в тот вечер она видела только пятно и думала почему-то о том, что человек, который так небрежен к собственным манжетам, либо полностью поглощён работой, либо давно перестал замечать взгляды.

Они говорили всего десять минут. Может, чуть больше — время в таких разговорах перестаёт быть дисциплиной. Он не спрашивал, счастлива ли она в браке. Он вообще не задавал вопросов о её жизни — ни прямых, ни обходных, которыми так часто пользуются люди, желающие показать внимательность, не предъявляя себя. Он смотрел так, будто знал, что счастливые женщины не задерживаются у треснувших зеркал. И это молчание о главном было точнее любых слов: оно предполагало, что она и сама всё понимает, и не торопило её к этому пониманию.

Говорили о зеркалах. О том, зачем люди смотрят в них. О том, что старые зеркала — до серебряного амальгамирования, до современных технологий — давали изображение тёмное, чуть искажённое, и именно поэтому в них всегда предполагали некую правду, недоступную обычному взгляду. Лия сказала, что ей кажется, мы в принципе предпочитаем видеть себя в несовершенном свете — потому что совершенное изображение требует ответственности за то, что видишь. Мирон замолчал на секунду, потом произнёс, что это, пожалуй, самое честное определение самопознания, которое он слышал за последнее время, и что большинство людей не подозревают, насколько они правы в своих случайных наблюдениях.

Когда он коснулся её локтя, чтобы пропустить к окну, где лучше было видно картину в соседнем зале, прикосновение оказалось слишком точным, почти неприлично узнающим. Не мимолётным — ровно тем, которым прикасаются к человеку, которого уже знают. Лия почувствовала, как где-то под рёбрами тронулся лёд, медленно, почти беззвучно, так трогается зимняя река в первые дни марта, когда ещё непонятно, сломается она или нет. Над городом стояла чёрная беззвёздная ночь, и только луна в отражении стекла казалась серебряной раной.

— Вы верите в судьбу? — спросил он.

Она хотела ответить умно, легко, по-весовски: что-нибудь про вероятность, про психологические паттерны, про то, что карта — это лишь один из языков. Но неожиданно для самой себя сказала правду:

— Только тогда, когда хочу оправдать слабость.

Пауза была короткой. Он усмехнулся, и в этой усмешке было больше боли, чем в любом признании. Не ирония над её ответом, а что-то другое — узнавание человека, который и сам пользовался похожей формулой.

— Честно, — сказал он. — Большинство говорит о судьбе, когда хотят снять с себя авторство.

— А вы что говорите?

— Я стараюсь молчать. Но это тоже своего рода авторство.

Они отошли к окну. На подоконнике, рядом с экспозиционной карточкой, кто-то забыл программку вечера, свёрнутую в трубочку. Мирон взял её машинально, повертел в пальцах, положил обратно. Жест был совершенно бессмысленным и именно поэтому человеческим до беззащитности. Лия смотрела на его руки — крупные, с тёмными пятнами

у суставов, с той плотностью движений, которая бывает у людей, привыкших работать физически, доверять материи больше, чем словам.

Потом кто-то окликнул её по имени с другого конца зала — знакомая из редакции, радостная, громкая, совершенно не вовремя. Лия обернулась, помахала рукой, что-то крикнула в ответ, и когда снова повернулась к Мирону, их разговор уже оказался в прошлом. Не оборванным — просто завершённым тем естественным образом, которым завершаются вещи, у которых ещё нет продолжения, но оно уже предрешено.

Позже она назовёт их встречу роковой. Тамара Ильинична скажет: роковым было не знакомство, а то, что Лия уже тогда решила считать магнетизм знаком истины. Но в тот момент она просто ходила по залу, разговаривала, пила шампанское, которое казалось ей слаще обычного, и иногда замечала его силуэт в разных зеркалах — всегда чуть в стороне, всегда один, всегда не смотрящий в её сторону, хотя это -не смотрящий- было слишком намеренным, чтобы быть нечаянным.

Незадолго до полуночи она оделась в гардеробе, попрощалась с организатором, вышла в холл. В холле пахло старым деревом и мокрым пальто кого-то только что вошедше-

го. Мирон стоял у стойки — должно быть, тоже уходил. Они оказались в одном пространстве снова, как если бы здание специально сжалось, чтобы это произошло.

— Вы едете в центр? — спросил он.

— Да.

— Я вызову такси на двоих, если хотите. Попролам.

Это был предлог, который не пытался притворяться чем-то большим. В его прямоте было больше уважения, чем в любом тонком маневре. Лия на секунду увидела — не умом, а тем глубинным телесным знанием, о котором потом трудно говорить, — что, если она согласится, что-то изменится. Не в тот вечер, может, не сразу. Но изменится.

— Нет, — сказала она. — Спасибо.

Он кивнул без обиды.

Когда она выходила, он негромко окликнул её:

— Подождите секунду.

Она обернулась. Он достал из кармана — откуда-то из

глубины, из того внутреннего кармана, где люди носят вещи, которые не хотят забыть, — маленький камень. Тёмный, почти чёрный, с внутренним огнём, который был виден только если держать его под определённым углом к свету. Опал.

— Возьмите, — сказал он. — На память о зеркале, которое не умеет лгать.

Она смотрела на его ладонь. Камень лежал там спокойно, как будто ждал именно этого момента.

— С чего вы решили, что я должна его взять?

— Не должны. Просто он точнее подойдёт вам, чем мне. Я его нашёл в мастерской год назад, не знаю чей. Ждал, пока появится кто-то, кому он скажет что-то большее, чем мне.

Это была странная логика. Или, может, единственно возможная — для человека, привыкшего переводить невидимое в цвет и форму. Лия взяла камень. Он был холодным, тяжелее, чем казался, с неровной поверхностью, которая чуть цепляла кожу. Она сжала его в кулаке.

— Спасибо.

На улице февральский воздух ударил в лицо, резкий,

честный. Она шла к стоянке такси и думала о зеркалах, о прикосновении к локтю, о камне в кулаке. Уже в машине разжала ладонь и посмотрела на опал в свете уличного фонаря. Внутри него жил крошечный огонь — зелёный, красный, почти синий — он перемещался в зависимости от угла, никогда не оставаясь одним цветом.

Телефон лежал в кармане. Через час она открыла Instagram Мирона — по имени, которое успела запомнить с именного бейджа. Никакого труда, никакого особенного умысла. Просто нашла.

Это она назовёт потом случайностью. Тамара Ильинична скажет: первый шаг мы всегда делаем сами.

За окном такси город плыл в своих огнях, двоясь в мокром асфальте. Кольцо на пальце было холоднее камня в кулаке, и Лия долго не понимала, почему это её тревожит. Потом поняла: она заметила. Значит, уже сравнивала.

А сравнение — это всегда вопрос, заданный себе в темноте. Ответ на него приходит не сразу. Но рано или поздно — всегда.

Глава 16. Реставрация

7 апреля 2025, 14:33. Сатурн в Овне. Меркурий директен. Луна в Тельце.

Её Солнце в Весах получает тригон от транзитного Сатурна — приходит время строить иначе. Его Сатурн наконец в своей силе: не как стена, а как фундамент. Меркурий говорит ясно.

-Сатурн не наказывает тех, кто строил из страха. Он просто показывает, что построили-.

Запах олифы появился в квартире за три дня до прихода Аркадия — Давид работал над рамой в коридоре, и этот запах, густой, терпкий, почти медицинский, пропитал всё: шторы, подушки, даже чай, который Лия пила по утрам. Она привыкла к нему быстро. Привыкла к присутствию Давида здесь, к его инструментам, разложенным с аккуратностью человека, который уважает чужое пространство, к тому, что он мог работать часами почти беззвучно — только иногда лёгкое шуршание наждака, иногда тихий звон стамески о подоконник.

В то утро он реставрировал не раму. Он разобрал старый книжный шкаф из кабинета — Аркадий попросил его забрать при разделе вещей, но хотел сохранить, и Давид взялся привести дерево в порядок: укрепить разошедшиеся углы, вывести царапины, вернуть морёный дуб к жизни. Лия проснулась от ровного шороха и долго лежала, не открывая глаз,

слушая этот звук — как слушают дождь, который не разрушает, а просто идёт.

Потом вышла на кухню.

Давид стоял у стола с кружкой кофе и читал что-то на телефоне. В утреннем свете апреля, ещё прохладном и чуть голубоватом, его лицо было обычным лицом обычного человека: неровная щетина, усталость под глазами, старая рубашка с закатанными рукавами. Никакой магнетической тени. Никакого тёмного сияния. Просто человек, который пришёл работать и сделал кофе на двоих.

— Шкаф сложнее, чем казался, — сказал он, не отрываясь от экрана. — Там внутри три слоя лака. Кто-то ремонтировал его раза два, и оба раза неправильно.

— Как неправильно?

— Залили новым сверху старого. Так всегда делают, когда торопятся или не хотят знать, что было раньше.

Лия налила себе кофе и подумала, что это могло бы быть метафорой, но Давид, кажется, имел в виду только лак.

Именно это в нём и было непривычным.

Аркадий позвонил в одиннадцать. Голос у него был спокойным — той особенной спокойностью, которую Лия уже научилась отличать от настоящего спокойствия: это был голос человека, который заранее решил говорить ровно, что бы ни случилось.

— Мне нужно зайти. Забрать несколько вещей из кабинета.

— Когда?

— Если можно, сегодня. Часа через два.

Она сказала -хорошо-, и они оба помолчали секунду — дольше, чем требовалось. В этой паузе умещалось слишком много: восемь лет, несколько измен, разбитое зеркало, мост над чёрной водой, флешка, которую она отдала Давиду, не бросив в канал.

— Давид будет здесь, — сказала она.

Ещё одна пауза.

— Понял.

Она положила трубку и долго смотрела в окно на ещё голые ветви клёна. Почки на них набухли, но не раскрылись — весна в этом городе всегда шла с осторожностью, как человек, которого однажды уже обманули.

Давид появился в дверях кухни с наждачной бумагой в руках.

— Аркадий приедет?

— Да.

— Мне уйти?

Лия повернулась. Вопрос был задан без нажима, без скрытого смысла, без желания проверить её ответ. Просто вопрос. Что ей нужно?

— Нет, — сказала она. — Не надо.

Он кивнул и вернулся в коридор.

Аркадий приехал через два с половиной часа. Лия услышала, как он звонит в дверь — не пользуется старым ключом, хотя ключ, возможно, всё ещё при нём. Это была малая вежливость, один из тех жестов, которыми люди обозначают

новую границу без слов.

Она открыла.

Он постарел. Не резко, не катастрофически — скорее, как вещь, которую долго держали в слишком тесном пространстве: немного потеряла форму, немного потемнела. В руках у него была пустая холщовая сумка. На запястье — часы, которые она подарила ему на пятую годовщину. Она заметила это и почувствовала странную, почти нейтральную печаль: не ревность к часам, не нежность, просто узнавание — вот след, вот метка, вот всё, что осталось от времени, когда они ещё верили в архитектуру.

— Проходи, — сказала она.

Давид не вышел. Работал в коридоре — слышно было тихое шуршание. Аркадий на мгновение задержал взгляд в стороне коридора, потом перевёл его на Лию. Ничего не сказал.

В кабинете было светло и пусто там, где стоял шкаф. Аркадий остановился, глядя на прямоугольник чуть более тёмного паркета — след отсутствия.

— Я возьму папки из нижнего ящика, — сказал он. — И карту.

На стене висела большая астрологическая карта — не его, Лии. Старая, купленная у Тамары ещё до свадьбы, с рукописными пометками по краям. Лия не сразу поняла, почему он назвал её.

— Это моя карта.

— Да, я знаю. — Он отвёл взгляд. — Я просто привык думать о ней как о нашей. Прости. Это уже не моё.

В голосе не было горечи. Была точность. Такого Аркадия она видела редко: без защиты, без обращения к форме, без этого архитектурного желания удерживать всё в правильных рамках. Просто человек, который разбирает имущество и называет вещи своими именами.

Она почти спросила, как он. Но не спросила, потому что ещё не была готова к честному ответу с обеих сторон.

Пока он перебирал папки, Лия встала у окна. Внизу по улице шла женщина с коляской, двое мужчин что-то обсуждали у припаркованной машины, мальчик лет семи бежал за голубем, который ленился взлетать. Обычный апрельский двор. Мир продолжался с той спокойной безразличностью, с которой мир всегда продолжается рядом с чужим горем и

чужим исцелением.

— Тамара говорила, что у тебя всё хорошо, — сказал Аркадий, не поднимая головы от папок.

— Тамара всегда знает больше, чем говорит.

— Это правда. — Короткая пауза. — Я рад. Серьёзно.

Он не смотрел на неё, и это позволяло словам быть настоящими.

— Ты как? — всё же спросила она.

Аркадий выпрямился. Подумал.

— Учусь жить в меньшем пространстве, — сказал он. — Я снял квартиру в два раза меньше. Первые недели было тяжело. Потом понял, что я всю жизнь путал размер с ценностью.

Это было, наверное, самое честное, что он говорил ей за все восемь лет. Именно такой ценой даётся честность — через потерю того, что казалось необходимым.

— Серафим объявился? — спросила Лия.

— Нет. И я не ищу.

— Мне говорили, что он уехал.

— Куда-то на юг. Говорят, продал архив. — Аркадий хмыкнул — коротко, без злобы. — Может, ему просто надоело хранить чужие тайны. Это тяжелее, чем кажется.

— Ты говоришь, как будто его понимаешь.

— Не понимаю. Но знаю, что люди, которые собирают чужую уязвимость, обычно сами боятся собственной. — Он закрыл папку. — Ему было что скрывать, и он это знал. Моё письмо к Лии — к тебе. Которое он не отдал восемь лет.

Лия замерла.

— Какое письмо?

Аркадий поднял глаза. По его лицу прошло что-то похожее на замешательство.

— Ты не знала? Я думал, он тебе передал. — Пауза. — Я написал тебе письмо через год после свадьбы. Когда понял, что схожу с ума от того, что не умею говорить о самом важном. Отдал Серафиму — он тогда казался мне надёжным.

Думал, передаст. Он сказал, что передал.

В комнате стало очень тихо.

Лия медленно подошла к столу и опустилась на край стула. Где-то в коридоре Давид перестал работать — тишина стала полной, как перед грозой.

— Что там было?

Аркадий поставил сумку. Провёл рукой по лбу.

— Что я боюсь. Что не умею. Что у нас есть что-то настоящее, но я не знаю, как до него добраться, потому что всю жизнь меня учили быть правильным, а не живым. Что если ты дашь мне время — не прощение, просто время — я попробую научиться иначе.

Голос у него остался ровным. Только руки выдавали: он держал лямку сумки так, будто она была единственным, за что можно держаться.

— Через год после свадьбы, — повторила она тихо.

— Да.

— А потом ты нашёл Еву.

— Да. Через три года после этого письма.

Лия смотрела на прямоугольник паркета, где стоял шкаф. Думала о том, что три года — это срок, достаточный, чтобы человек сдался. Достаточный, чтобы решить, что слова, не переданные адресату, были сказаны в пустоту. Достаточный, чтобы поверить, что тишина в ответ — и есть ответ.

Серафим знал это. Он не просто спрятал письмо. Он выбрал момент для расстояния.

— Ты злишься? — спросил Аркадий.

— Устала злиться. — Она помолчала. — На тебя — нет. На него — уже тоже нет. Просто... понимаю теперь, как давно всё это началось. И что ни ты, ни я не были такими виноватыми, как нам казалось. Хотя это не значит, что мы были невиновны.

Он кивнул. Это был, наверное, самый точный ответ, который она могла дать, и они оба это поняли.

Аркадий уходил около двух. В коридоре он увидел шкаф — разобранный, зачищенный, с тёмным деревом, которое

уже дышало иначе. Давид стоял над ним с тряпкой и небольшой банкой морилки.

— Хорошая работа, — сказал Аркадий.

— Там были три слоя, — ответил Давид. — Пришлось снимать до живого.

Они посмотрели друг на друга. Без вражды. Без мягкости. Просто двое мужчин, которые оба знали, о чём идёт речь, и не собирались делать из этого театр.

Аркадий надел куртку. Потом остановился и снял с запястья часы.

— Возьми, — сказал он Лии. — Не потому, что мне тяжело на них смотреть. Просто они твои. Ты их выбирала.

Она взяла. Механизм часов был живым, тихим. Внутри шло время — то самое, которое нельзя отмотать и которое, оказывается, продолжается даже когда думаешь, что оно остановилось.

Когда дверь за ним закрылась, Лия долго стояла в коридоре с часами в ладони.

Давид вернулся к шкафу. Но работать не начал.

— Ты в порядке?

— Он сказал, что написал мне письмо. Восемь лет назад. Серафим его не передал.

Давид ничего не ответил сразу. Потом тихо:

— Ты хочешь его найти?

— Нет. — Она удивилась собственному ответу. Подождала, проверяя, правда ли это. — Нет. То, что в нём было, — оно всё равно случилось. Только не словами.

— Что случилось?

Она подумала.

— Пространство, между нами. Которое мы оба не умели назвать, и поэтому начали заполнять другими людьми.

Давид посмотрел на неё — внимательно, без торопливости, как смотрят на старое дерево, пытаясь понять его структуру раньше, чем прикоснуться к нему инструментом.

— Это честно, — сказал он.

— Больно.

— Тоже.

Она засмеялась — коротко, без горечи. Просто потому, что иногда точность бывает смешной именно из-за своей точности.

К вечеру шкаф был готов к первому слою морилки. Давид работал не спеша, движениями, которые казались ей медитативными: длинные проводки тряпки вдоль волокна, пауза, проверка на свет, снова. Дерево темнело и одновременно оживало — в нём появлялась глубина, которая была там всегда, просто скрытая чужими слоями.

Лия сидела на подоконнике и читала старые пометки на полях астрологической карты, висевшей на стене. Тамарин почерк, её собственный, несколько строк Аркадия — он писал мелко, почти незаметно. В одном месте кто-то обвёл красным восьмой дом и написал: -здесь живёт то, что мы отдаём другим-.

Она не помнила, кто это написал.

— Давид, — сказала она, не поворачиваясь.

— Да.

— Ты давно знал, что любишь меня?

Пауза была долгой — не потому, что он не знал ответа, а потому что искал правильный.

— Достаточно давно, чтобы понять: говорить об этом раньше было бы нечестно. Ты была занята другим.

— Занята?

— Ты строила понимание себя. Это нельзя было прервать.

Она повернулась и посмотрела на него. В свете настольной лампы его лицо снова было обычным — без ореола, без темноты, без той изнуряющей интенсивности, которую она столько лет считала признаком настоящего. Просто лицо. Но в нём было что-то, чему она не сразу нашла название.

Присутствие.

Не поглощение. Не страсть, которая требует тебя целиком и оставляет пустой. Просто живое, устойчивое присутствие

человека, который никуда не торопится и никуда не уходит.

— Я ещё не знаю, как это будет, — сказала она.

— Я тоже. — Он обмакнул тряпку в морилку. — Это хорошо.

— Почему?

— Потому что, когда люди думают, что знают заранее, они перестают смотреть.

Лия снова повернулась к карте. Нашла свою Луну в Скорпионе — маленький значок в восьмом доме, зажатый между чужими орбитами. Тамара когда-то сказала: -Луна в Скорпионе умеет видеть в темноте. Это не проклятие. Это инструмент. Важно только не влюбляться в самую темноту-.

Она провела пальцем по бумаге. Почувствовала, как под пальцем — чуть шероховатая, чуть пыльная поверхность старой карты, живая и конкретная. Реальная.

За окном стемнело. В стекле отразилась комната: шкаф с золотисто-тёмным деревом, лампа, Давид за работой, она сама на подоконнике. Обычная, негероическая картина. Та, которую не напишут на холсте с расплывающимися плане-

тарными лицами.

И всё же она смотрела в это отражение долго, не отводя взгляда.

В нём не было трещины.

Или — трещина была, но вплавлена так, как умел только Давид: не скрыта, не стёрта, а встроена в рисунок. Сделана частью того, что есть.

Запах олифы стоял в квартире тихо и ровно — как обещание, которое не требует слов.

#### Глава 4. Ретроградный разговор

9 апреля 2024, 18:32. Меркурий ретрограден в Овне. Венера входит в 12-й дом. Луна в Близнецах.

Её Меркурий в Рыбах в квадрате к его Нептуну — слова туманятся. Его Меркурий в соединении с её Сатурном — каждое признание запаздывает и превращается в защиту.

-Во время ретроградного Меркурия люди врут не словами, а пропусками между ними-.

Ложечка в её пальцах была тонкая, почти невесомая — из тех, что дают в кафе, где не рассчитывают на долгих гостей.

Лия крутила её уже четверть часа, наблюдая, как выпуклое серебро искажает её отражение: нос шире, лоб уже, глаза — два расплывшихся пятна без выражения. Она подумала, что именно такой должна ощущаться психика под ретроградным Меркурием: знакомое лицо, переставшее быть собой.

Кафе пахло корицей и сырым шерстяным пальто. Аквамариновые стены собирали влагу — окна запотели настолько, что за стеклом угадывались лишь размытые силуэты прохожих, призраки апрельского Петербурга, спешащего сквозь дождь. Лия пришла на двадцать минут раньше и успела заметить: столики расставлены так, чтобы между людьми всегда было достаточно чужого воздуха. Архитектура интимности, имитирующей уединение.

Аркадий вошёл ровно в половину седьмого — как всегда, минута в минуту. Это была одна из тех его черт, которую она когда-то любила и которую теперь воспринимала как форму защиты: пунктуальность как броня, расписание как свидетель алиби. Он снял перчатки у порога, огляделся, нашёл её взглядом — и что-то в этом взгляде было уже заготовлено. Не поза, нет. Скорее — заранее принятое решение о том, сколько правды выдержит сегодняшний вечер.

Она увидела это и опустила ложечку.

— Ты почти не спишь, — сказал он, опускаясь на стул.

— А ты почти не бываешь дома.

Это прозвучало легко, почти как шутка. Но они оба слышали под этим то, что слышат люди, долго проживающие в одном доме с правдой, для которой ещё не придумали имя: усталость, ставшую привычкой, привычку, сделавшуюся архитектурой.

Аркадий поднял руку, подзывая официанта, и заказал кофе с той деловой краткостью, которой пользуются, когда хотят занять руки и рот чем-то, не требующим эмоций. Лия смотрела на его манжеты, и там, едва уловимо, почти неприлично конкретно, жил чужой запах. Не парфюм — нет, духи были бы слишком явным. Что-то другое. Холодное, металлическое, как воздух в незнакомом помещении, где ты стоял достаточно долго, чтобы им пропитаться.

Она почувствовала, как внутри поднялось что-то тёмно-рубиновое. Не ярость — ярость была бы проще. Скорее — то особое скорпионье знание, которое уже всё решило раньше разума и теперь ждало, пока слова догонят ощущение.

— У тебя кто-то есть?

Аркадий поднял глаза. И в этот короткий промежуток между вопросом и ответом — в те полсекунды, пока он не произнёс ещё ни слова — его лицо стало неожиданно открытым. Почти прекрасным в своей усталости. Потому что он действительно хотел ответить правильно. Потому что в нём жила настоящая совесть, которую он давно не мог примирить с тем, что делал.

— У меня есть беспорядок, — произнёс он. — И вещи, которые я пытался не делать важными.

Лия медленно выдохнула.

— Это и есть измена, Аркадий. Делать важное неважным.

Он не возразил. Кофе поставили перед ним, он посмотрел на чашку, как на предмет из другой жизни.

За окном туман стирал очертания фонарей. Город становился похож на карту без подписей — всё на месте, только прочитать невозможно. Лия подумала, что именно так и выглядит брак в определённой стадии: форма сохранена, содержание — испарилось, как слова в запотевшем стекле.

— А у тебя? — спросил он тихо. Не с обвинением, скорее

с той осторожностью, с которой люди берут из рук что-то хрупкое, зная, что уже надломили. — У тебя ничего нет?

Вот здесь ей следовало бы сказать правду. Мирон уже был в её жизни — не полностью, ещё не всем телом и не всем сознанием, но уже достаточно, чтобы слово -невинность- перестало к ней относиться. Он был черным опалом в её кармане. Он был голосом по телефону в час ночи, когда Аркадий спал. Он был разрешением чувствовать то, что она запрещала себе в этом браке, — и именно эта лёгкость была опаснее любого тела.

— У меня есть только усталость от того, что мы всё время говорим как дипломаты перед войной.

Она сказала это ровно и с некоторым изяществом, и именно поэтому солгала безупречно. Ложь была не полной — усталость существовала, война существовала. Но в ней была пропасть умолчания, которую она прикрыла красивым образом, как прикрывают трещину в стене картиной.

Самый разрушительный вид лжи: тот, что оставляет себе алиби в доле правды.

Аркадий посмотрел на неё долго. Он умел это — смотреть без нажима, без требования, с той терпеливой сатур-

нианской выдержкой, которая раньше казалась ей надёжностью, а теперь ощущалась как тихое профессиональное дознание. Возможно, он тоже чувствовал запах умолчания в её словах. Возможно, просто не хотел открывать второй фронт в тот момент, когда ещё не сдал первый.

Молчание между ними длилось достаточно долго, чтобы стать самостоятельным высказыванием.

Именно тогда, в этой паузе, сотканной из двойной неправды, к их столику подошёл Серафим Крона.

Лия заметила его ещё с дороги: тёмный плащ цвета мокрого угля, неспешная походка человека, у которого нет случайных маршрутов. Она не успела ничего подумать, а он уже стоял рядом — мягко, почти извиняющимся жестом придерживая стул соседнего столика, как если бы просто заглянул сказать пустяк.

— Простите, что прерываю, — произнёс он голосом, в котором была та особая теплота, которую вырабатывают люди, знающие о вас больше, чем вы сами. — Но у вас обоих сейчас опасный транзит. Главное — не принимать импульс за судьбу.

Лия вздрогнула. Не потому, что слова были страшными, а

потому что они попали точно — как игла в нерв, который она считала надёжно спрятанным. Аркадий раздражённо сжал чашку, и фарфор тихо хрустнул под пальцами.

Серафим улыбнулся — легко, без нажима — и попрощался прежде, чем кто-либо успел ответить. Уходя, он положил на угол стола визитку. Плотная бумага, матовая, без лишнего. На ней было только одно изображение: солнечное затмение — чёрный диск, обведённый тонким кольцом света.

Они оба смотрели на неё.

— Ты его знаешь? — спросил Аркадий.

— Встречала. Он астролог.

— Астрологи не появляются в кафе к чужим людям просто так.

Лия взяла визитку. Бумага была прохладной и плотной, как чужое намерение.

— Нет, — согласилась она. — Не появляются.

Она убрала карточку в сумку. Не потому, что верила Серафиму — тогда ещё нет. Просто в городе, где она не знала

никого, даже чужое имя казалось чем-то вроде опоры.

Серафим появился три недели назад — или три года, она уже не была уверена. Время здесь текло иначе: густо, как мёд, и так же непредсказуемо застывало. Он стоял у витрины букинистического, листал что-то с видом человека, которому некуда торопиться, и когда она случайно толкнула его локтем, не обернулся сразу. Подождал. Как будто давал ей возможность уйти.

Она не ушла.

— Простите, — сказала она.

— Уже, — ответил он, не отрываясь от страницы.

Потом всё-таки закрыл книгу и посмотрел на неё. У него были глаза человека, который много слышал и мало удивлялся — не усталые, нет, скорее отстоявшиеся, как вода в старом колодце.

— Вы новая здесь, — сказал он. Не спросил.

— Это так заметно?

— Вы смотрите на вывески. Местные давно перестали их

читать.

Она не знала, что ответить, и он не стал ждать. Достал из кармана пальто карточку — плотную, чуть желтоватую, с именем и номером телефона, напечатанными таким мелким шрифтом, что она невольно прищурилась.

— На случай, если понадобится.

— Зачем вы мне понадобитесь?

Он снова взял книгу.

— Пока не знаю. Но обычно надобятся.

Она шла теперь вдоль набережной, и карточка лежала в боковом кармане сумки — там, где обычно лежат вещи, которые не нужны, но выбросить жалко. Фонари уже зажглись, хотя до темноты было ещё далеко. Город любил этот странный час — промежуточный, ни то ни сё, когда свет дневной и свет искусственный существуют одновременно, не перебивая друг друга.

Телефон завибрировал.

Незнакомый номер.

Она остановилась. Посмотрела на экран, потом — рефлексивно, глупо — на карточку в сумке, как будто могла сравнить.

Совпадало.

Она ответила.

— Я знаю, что рано, — сказал Серафим. — Но дело не ждёт. Вы сейчас у реки?

— Откуда вы...

— Там есть скамейка без спинки, третья от моста. Не садитесь на неё. И не смотрите под неё тоже.

Гудки.

Она стояла, держа телефон у уха ещё несколько секунд. Потом медленно повернула голову.

Скамейка была в десяти шагах.

Третья от моста.

И она почти — почти — посмотрела под неё.

## Глава 5. Письмо под затмением

Серафим позвонил в половину одиннадцатого. Голос у него был такой же, как всегда — мягкий, почти бархатный, с лёгкой паузой перед каждой значимой фразой, будто он дал собеседнику время осознать вес сказанного прежде, чем произнести его.

— Лия, мне нужно с тобой поговорить. Не по телефону. Сегодня это важно.

Она стояла в кабинете Аркадия, письмо Евы лежало на полу рядом с её коленями. Телефон грел ладонь.

— Откуда вы знаете, что это важно именно сегодня?

Пауза — чуть длиннее обычной.

— Потому что затмение уже совершилось. И некоторые вещи теперь нельзя вернуть назад.

Она не ответила. В трубке слышалось ровное дыхание человека, умеющего ждать.

— Я пришлю адрес, — добавил Серафим.

Лия не отказала. В этом, наверное, и состояла её ошибка. Но отказ потребовал бы определённого рода ясности, которой у неё в ту минуту не было. Она видела письмо, фотографию, почерк Серафима на обороте — и понимала, что одна в этой комнате не разберётся с архитектурой того, что на неё свалилось. Ей нужен был голос, пусть даже ненадёжный.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.